

АЛЬБЕРТ КАРЫШЕВ



ЗМЕИНЫЙ ВЗГЛЯД

ЭТЮДЫ

ЗМЕИ

Гадюка

Раньше, бродя по лесам, окружающим деревню, я замечал в них единственных ползучих гадов — ужей, они, как известно, в отличие от ядовитых сородичей, отмечены оранжевыми или жёлтыми пятнами на чёрных макушках. Лишь однажды за многие прежние годы встретилась мне гадюка — под желтевшим ореховым кустом, усыпанным соплодиями спелых орехов. Нынешним же летом, едва сошёл я как-то раз в солнечный полдень с рейсового автобуса и ступил с асфальтовой ветки большого шоссе на грунтовую проезжую дорогу, ведущую прямо в нашу деревню, и тут же увидел двух гадюк, ползших через машинные колеи в разные стороны. Обе, почуяв меня, заторопились и, вильнув тёмно-серыми хвостами, исчезли в густой придорожной траве.

Потом и жена моя Вера Владимировна наткнулась на гадюку, притаившуюся в опасной близости от людей. К вечеру, повязав голову выгоревшим цветастым платочком, бойко, как молодая, пошла жена в огород прореживать морковь, но неожиданно вернулась в избу, где я растапливал русскую печь, подкладывая под сложенные в клетку поленья горящую бересту.

КАРЫШЕВ Альберт Иванович родился в 1936 году в Наро-Фоминске. Окончил мореходную школу в Архангельске и кораблестроительный институт в Ленинграде. Пять лет плавал матросом, потом работал инженером по ремонту атомных лодок. Автор книг прозы “В день Победы”, “Всю жизнь”, “Плач ребёнка”, “В лесу”, “Дурная кровь”, “Пленные немцы в Григорьевске” и других. Член Союза писателей России. Живет во Владимире.

— Глянь, какое страшилище там сидит! — сказала Вера и мотнула головой в сторону двора, нервно поёживаясь при этом и посмеиваясь. — Пойдём! Я боюсь!..

Огород наш, ухоженный ею (жена знаток и любитель подсобного хозяйства, а я у неё тут на подхвате), невелик: всё маленькие грядки, и одна из них — грядка моркови, вскопанная возле кустов смородины, под старой “китайской” яблоней, раскидистой, как баобаб (на картинках), на которой зревает множество плодов размером с вишню.

Приблизились к морковной грядке. Вера Владимировна указала пальцем на красную пластмассовую лейку, оставленную в междурядье, и произнесла почти шёпотом:

— Там...

Лейка с прошлого дня оставалась в огороде. Долгое время шли затяжные дожди, и она не была нужна; но дальше распогодилось, несколько дней сияло солнце, и вчера мы искусственно оросили подсохшие грядки, черная вода из железной бочки под водостоком. Наверно, змеи оттого и размножились так сильно, что в мае, июне, июле на земле скапливалось много влаги, они ведь её любят. Я, было, взялся за лейку, но вдруг поостерёгся и заглянул в неё, нацепив очки, которые до этой минуты держал в кулаке. Склонился над лейкой и разглядел на дне гадюку, показавшуюся мне на красном фоне совсем чёрной. Кто не содрогнётся, увидев перед собой ползучего гада? Вздрыгнул и я от пробежавшего по позвоночнику морозца, от первобытного страха и в первый миг отпрянул, но набрался храбрости и не шибко стукнул по лейке ногой.

На дне её оставались капли воды. Змея лежала в сырости, свернувшись кольцами посреди вытянутого днища, но от моего тычка ногой в лейку она подняла треугольную голову с зубчатым рисунком, тянущимся дальше по хребту, и, выбрасывая изо рта чёрную нитку языка, недовольно на меня посмотрела. Я сразу её понял. Если бы змеюка могла говорить, то сердито сказала бы примерно следующее: “Почто бухаешь, спокою не даёшь? Что я тебе такого сделала? Помешала, да? Место в твоей лейке пролежала? Сладил с маленькой?”

— Проваливай! — говорю. — Ползи в лес! Ты ядовитая, мы тебя боимся. Не захочешь, да при случае ужалишь. Это в тебе природой заложено.

Змея вылезла на землю, но не в ровный заводской вырез лейки, а в пролом, не помню, когда и отчего образовавшийся на верхнем скруглённом углу пластикового сосуда. Вяло навиваясь, она нехотя двинулась по междурядьям за пределы огорода. Пару дней мы с Верой ходили по двору осторожно, поглядывая себе под ноги, побаиваясь, но гадюк, похоже, в усадьбе больше не было, и бдительность в нас притупилась.

Вскоре мне понадобилось сходить на пепелище дома, сгоревшего неподалёку. На краю пепелища, куда я пришёл с ведром и лопаткой, остались не тронутые огнём древесные опилки, зачем-то некогда привезённые в усадьбу хозяином и насыпанные на землю толстым слоем. Опилки меня и интересовали. Они нужны были нам с женой для определённых нужд, и я таскал их отсюда несколько раз за лето. Присел на корточки и стая ковырять лопаткой. Спину сквозь рубашку жарило солнце. Со временем опилки побурели, заросли, в них копошились жучки, муравьи, и прежде чем складывать в ведро полезные нам отходы лесозаготовительного производства, я старался выбирать из них траву с переплетёнными корнями и букашек. Вдруг заподозрил, что кто-то за мной подматривает сбоку; повернулся и ахнул, увидев рядом гадюку. Змея устроилась на закоптелом кирпиче, отвалившемся от фундамента сгорелого дома, и грелась в солнечных лучах. Так же, как та, в лейке, она собралась кольцами и так же вскинула голову, чтобы посмотреть, кто нарушает её покой. У гадюки глазки маленькие, бисерные; но от их пронизывающего взгляда мне стало не по себе. Голова змеи покачивалась сбоку набок и медленно поднималась выше, словно пресмыкающееся изготавливалось для броска. Подхватив ведро, я отступил задом и набрал опилок подальше от гадюки. “Вот тебе хороший урок. Если змей вокруг не видно, это ещё не значит, что их поблизости нет. Надо быть начеку в своём

огороде, а то нечаянно наступишь, и тяпнет за ногу”, — такое умозаключение вывелось у меня само собой.

Рано утром, взяв ивовые корзинки, служившие нам много лет и чиненные-перечиненные, обув резиновые сапоги, собрались мы с женой по грибы, по лисички, которых в недавнюю дождливую пору развелось в лесу множество. Когда лисички росли в изобилии, мы носили их из леса чуть не каждый день и сдавали городским скупщикам, ездившим на “уазике” с крытым кузовом. Платили скупщики мало, но всё же кое-что мы зарабатывали “для поддержки штанов”; прошлым летом, например, выручили за лисички четыре тысячи восемьдесят девять рублей.

Пошли по ветке шоссе. Асфальт от росы был влажен, и от него в тёплый воздух, прогревавшийся солнцем, струился пар. По дороге попадались нам мёртвые птички, целые и ещё тёплые, и раздавленные, размазанные колёсами по асфальту; птичек сбивали машины, проезжая тут редко, зато на огромных скоростях, особенно легковые “иномарки”. Целых мёртвых птичек жена моя брала, гладила, жалела и клала на обочину. Вблизи деревни по сторонам дороги раскинулись поля, справа ровные, а слева холмистые — уже местами и не поля, а мелколесье, “мелятник” (при коллективном сельском хозяйстве все эти земли распахивались), за полями стояли густые леса. Впереди нас лес сходил с крутой горы и поднимался в крутую гору. Над низиной держался туманец. Дорога в низине была ограждена белёными железными полосами, привинченными к стойкам; за охранительными загородами зияли глубокие овраги, поросшие деревьями, кустами и папоротниками. В здешнем лесу много встречалось страшноватых оврагов. Эти дикие балки деревенские жители звали “приклонами”. Мы с женой и нацелились на “приклоны”, где в урожайные годы лисичек росло видимо-невидимо, и мало кто их там собирал из-за тяжёлого и небезопасного передвижения по обрывистым откосам, дебрям и бурелому.

“И конечно, лесные овраги кишат теперь змеями”, — рассудил я и поднял с обочины дороги обломок сухой ветки — не для того, чтобы лупить палкой гадов, но чтобы, дотягиваясь в лесу до лисичек, шуровать ею в траве и отпугивать змей.

— А вон они, лапушки! — воскликнула моя Вера, когда мы достигли дна асфальтовой седловины. Голосок её шустрый, но и встревоженный взнёсся высоко, прозвенел в утренней тишине под куполом ясного неба и отозвался в лесу эхом.

Вера Владимировна шагнула к краю дороги и приостановилась. Видела она без очков острее меня и что-то там на обочине заметила. Я глянул на жену вопросительно, понял, взял из корзины очки, и мы вместе подошли к змеям поближе.

Много наша семейная пара за пятьдесят лет побродила по лесам. Видели мы зайцев, белок, ежей и разных птиц; рыжая лиса однажды попалась нам на глаза, а ещё однажды встретился лось — он переходил лесную дорогу; с кабаном, лежавшим в траве и похожим издали на бурого телёнка, едва не столкнулись, выйдя из тёмных зарослей на поляну. Гадюк же, значит, в окружающих деревню чащобах до сих пор не замечали, но вот увидели сразу трёх, и не в лесу, а на дороге. Они вылезли из оврага, проползли под белёной загородкой и разлеглись на песчаной обочине, как на пляже. Змеи млели под восходящим солнцем, разгонявшим туман, и посматривали благодушно даже тогда, когда мы встали почти над ними. Правда, одна приподняла голову, но вновь опустила её на свёрнутое кольцами туловище. Все три были чёрные, с шоколадным отливом. Их позы (если учесть, что мы наблюдали свернувшихся змей спереди) напомнили мне позы людей, загорающих спиной вверх и уткнувшихся подбородком в сложенные под головой руки. Мы не стали им надоедать.

Всего с десятка метров прошли мы по шоссе в гору, и нас привлекла потрясающая картина: очередная гадюка, крупная по меркам змей, живущих в умеренном климате, охмуряла, заворачивала зеленовато-коричневую лягушку. Здесь основание леса приподнялось, на опушке у дороги возник об-

рыв, в котором обнажилось переплетение древесных корней. Под обрывом всё и происходило. Гадюка покачивалась в зловещей стойке, а лягушка, глядя в её страшные чёрные телевизоры, медленно приближалась к змее, не припрыгивала, а ползла по-пластунски, упираясь в землю длинными задними лапками и цепляясь за землю короткими передними. Загипнотизированная змеиным взглядом, она, похоже, с восторгом шла на верную гибель и почитала за счастье быть съеденной. Не знаю, как гадюки охотятся и поедают жертву, но уверен, что нам с женой довелось увидеть начало змеиной трапезы. Жена, сохранившая в себе детское восприятие мира, сперва ужасалась и ойкала, а потом в голубых её глазах мелькнули возмущение и боевой огонёк. Выхватив у меня палку, она замахнулась ею на гадюку, приговаривая: — Уходи, мерзавка! Уходи!

Змея сдалась не сразу. Наверно, она и себя загнала в транс, так как некоторое время не замечала ни нас, стоящих перед нею, ни палки над головой. Но вот гадюка отшатнулась от людей, распласталась по земле и, развернувшись, поползла, зло оглядываясь, к обрыву, а там ловко подтянулась к корням деревьев и исчезла среди корней. Лягушка же, как мёртвая, застыла с вытянутыми задними лапками. Она с трудом отходила от наваждения. Лишь когда Вера поддела бедное земноводное палкой, оно пошевелилось, встало на все лапки, пошатнулось, а потом уж и прыгнуло.

— Зря ты шутанула гадюку, — сказал я. — Она голодная и всё равно кого-нибудь слопает, не эту лягушку, так другую. Лягушка в свою очередь поймает себе на обед сотню мошек. Закон животного мира. Ты нарушила этот закон. Змея в недоумении.

— Понимаю, — ответила жена. — Но я не могла спокойно видеть, как одна животина убивает другую.

— Это правда. Я тоже не мог. Надо было нам пройти мимо. Жуткое зрелище...

Между прочим, в диком лесу на “приклоне” мы ни одной гадюки не увидели, так что я уже и забыл шуровать в траве палкой. Они, змеи, ведь не глупые, понапрасну не вылезают из укромных мест. И, как все животные, ползучие гады остерегаются человека.

Змеиное отродье

В заречье у нас в берёзовых рощах растут белые грибы. Почва там песчаная; рощи сухи, светлы, легко проходимы, кое-где, правда, и буреломны — не так сильно, конечно, как на “приклоне”, где чёрт ногу сломит. Белые лучше всего зреют по опушкам. Этим летом, несмотря на частые дожди и необходимое тепло, они в сравнении с лисичками не уродились — возможно, их грибница решила отдохнуть после прошлого грибного года. Часа два мы бродим по опушкам, одной, другой и третьей, но отыскивали единственный белый, и тот с червоточинной, и “на безрыбье” подбираем сыроежки, маслята, их, впрочем, тоже выросло мало. Погода, сменившись в августе с дождливой на солнечную, продолжает быть вёдреной. Со стороны полей, которые мы обходим вдоль леса, тянет приятный ветерок, освежает нам лица, гонит от лиц комаров. Воздух в этих краях — исключительной свежести, все дачники им восторгаются, и мы полной грудью дышим свежим воздухом.

Разочаровавшись на опушках, свернули с них и двинулись по лесной просёлочной дороге. Не встретятся ли нам белые грибы в глубоком лесу? Может быть, им нынче больше нравится стоять не на солнечных опушках и полянах, обдуваемая ветерком, а далеко за деревьями, в прохладной тени, сторонясь ветра? Так мы подумали. Меж деревьев и кустов виднелись заросшие черничники, с ближайших к дороге любители и промысловики уже пообрывали ягоды. Кроме черники тут немало росло земляники и брусники, земляника уже сошла, а брусника доспевала, и её краснеющие плоды мелькали в зелёной траве по сторонам дороги. Зашли мы просёлком далеко, время от времени сворачивая в лес. Среди берёз всё чаще появлялись сосны,

ели, а потом лес вовсе стал больше хвойным, чем лиственным; в хвойном мы напали на лисички и смирились с тем, что белых грибов не нашли.

Повернули назад и до самого выхода из леса безостановочно шли по дороге, нагруженные лисичками, из которых иные крупные, развиваясь, приобрели вид роскошных жёлтых цветов с широкими венчиками. На опушке остановились, решили отдохнуть и едва не присели кто на пень, кто на траву, но жена вдруг сказала, вытянув руку и палец:

— Смотри-ка!

Я посмотрел и среди мёртвых сучьев на земле, недалеко от наших ног увидел то, что рассеянным взглядом нелегко было заметить: смешавшись с сучьями, на травянистой опушке лежала толстая короткая змея фантастической расцветки, по светло-коричневому телу раскрашенная, словно татуированная, зелёными точками, чёрточками и полосами, но главное, вся отливающая надраенной бронзой, полная солнечных отблесков. Из-за удивительной красоты она выглядела ненастоящей, сработанной чьими-то умными руками: произведение искусства, редкостная игрушка — да и только.

— Это, наверно, медянка, — сказал я. — Никаких других подобных змей тут быть не может. Медянка или медница, уж не знаю, кто. Между ними есть какое-то различие. Пишут, что это безногая ящерица, совсем безвредная, но старожилы в один голос твердят, что медянка опасна, ядовита. Они знают, всю жизнь проводят среди лесов. А может быть, медница ядовита, а медянка нет, или наоборот, нужно уточнить. Лучше давай отодвинемся, отдохнём в сторонке.

Но от такой красоты трудно было оторваться, и змея казалась мёртвой; она не уползала от нас, а лежала на боку и не двигалась, слабо изогнувшись, перекинувшись через нетолстую валежину. Мы наклонились, и я потрогал её веточкой — о нет, красотка была жива, она зашевелилась и круче повернулась на бок, почти на спину, и, приоткрыв рот, задышала тяжело, так что её переливчатое бронзовое брюшко стало вздыматься и опадать.

— Больная, что ли? — вслух подумал я. — Может быть, зашиб кто-нибудь?

— Не больная. Рожает она, — сказала Вера. — Посмотри, какая толстая. У неё начинаются схватки. Роды, видно, тяжёлые, и бедняжка корчится от боли. Ей так лежать неудобно, надо перевернуть её животом вниз...

В детстве, наезжая в пионерский лагерь, я ловил ужей и пытался приручить, даже таскал иных за пазухой, пропитываясь скверным ужинным запахом, по которому и теперь могу определить в лесу: здесь водятся ужи. Приходилось мне наблюдать и то, как рожают ужихи, сокращаясь от напряжения, тужась, а потом откладывая на землю мелкие белые яички, скорее, мешочки, потому что они мягкие, без скорлупы. Так же и медянка вела себя, и ещё: под хвостом её на выходе из утробы судорожно сжималось, разжималось, пульсировало углубление — это я тоже видел у разрешающихся от бремени ужих. Вот-вот медянка произведёт на свет “змеиных отродий”. Мы, если когда-то придётся видеть новорожденных гадов, от предубеждения, наверно, содрогнёмся, для матери же змеёныши станут её милыми детьми; правда, вскоре они и позабудут друг друга: дети мать, а она их — так у змей принято. Красотка мучилась, словно человеческая роженица, и мы с женой говорили о нашем сострадании к ней. Очень хотелось до конца посмотреть медянкины роды; но как-то и неловко было дальше подглядывать, и нехорошо пугать беззащитное беспомощное животное. Оно силится приподнять голову, косилось на нас из неудобного положения, в каком лежала, и говорила, как могла: “Да уйдите, окаянные! Глаза ваши бесстыжие!”

Мы перевернули её веточкой на живот и ушли. Пусть рожает.

Клубок змей

Слышал я от деревенских старожиллов, будто на Исакия (по современному календарю двенадцатого июня) и на Здвиженье (двадцать седьмого сентября) множество змей ползут по лесу одна за другой. После осенних “тусо-

вок” они залезают в норы и спят до весны, а ранним летом ползут жениться, весенние соки в них бродят — ведь по старому стилю двенадцатое июня — это ещё весна, — где-то гады сплетаются в клубки и устраивают “свальный грех”, массовое оплодотворение. И, понятное дело, на Исакия и Здвиженье ходить в лес не рекомендуется: неровен час, нарвёшься на полчище змей и увидишь мерзопакостную картину, но можешь и пострадать: гады в это время свирепы и кидаются на человека.

— А ведь мы с тобой однажды видели клубок змей, — говорю жене за ужином. — Помнишь?

— Не клубок, — отвечает Вера Владимировна. — Скорее, кучу малу.

— Ну, это и есть “клубок”...

На дворе осень, конец сентября. Погода холодная, ветреная, пасмурная; за окном и в полдень так темно, что если надо почитать, то лучше зажечь электрический свет, чтобы не слишком напрягались глаза. А мы натопили печь, сидим в тёплой избе за столом, едим и толкуем о змеях, их нынешнее засилье к такому разговору побуждает.

Подробно вспоминаем, как в далёкой молодости однажды видели кучу ужей. Мы тогда недавно поженились, были жизнерадостны, подвижны, легки на подъём, и летом, осенью нередко в свободное время брали корзины, ехали маршрутным автобусом от Владимира до Соймы, а там через поле и наклонную деревню Горки уходили по грибы в любимые смешанные леса, относящиеся к Судогодскому району Владимирской области.

В тот раз мы пошли в лес летом, кажется, именно в июне и, возможно, в середине месяца, потому что, помним, созрели “колосовики”: их могучая волна катится по лесу в середине июня, числа с пятнадцатого, когда начинает колоситься рожь. Год, примерно девятьсот семидесятый, выдался исключительно грибным; старики, как водится в таких случаях, говорили, что грибы — к войне. “Колосовики” белые, берёзовые, сыроежки и маслята, чистые, красивые, весёлые, попались нам то и дело, и на ровной, не очень травянистой почве их легко было срезать ножичком (не то что теперь лисички на “приклоне”, росшие в густой траве среди палых стволов и валежника). Светило солнце, ветерок встряхивал листья деревьев — нежно-зелёные ещё, с берёзовых не вполне сошёл весенний глянec. Хорошо, раздольно, празднично. Мы гуляли и радовались, и не поспешили бы возвращаться домой, если бы корзины наши уже не нагрузились доверху.

Сели на поляне, вытряхнули грибы в траву, а потом уложили их в корзины аккуратнее, привлекательнее — это интересное действие мы, как ритуал, исполняли непременно. Идя затем через лес к шоссе, торопясь к автобусу, мы говорили о том, какой здесь светлый, опрятный лес, словно кто-то его прореживает и гребёт граблями. Конечно, змей встретить не ожидали, и в голову не приходило, что они могут водиться в таком культурном лесу; но вдруг в неглубокой узкой канаве, продолжавшейся далеко в обе стороны, неизвестно для чего вырытой, заметили гадючий “клубок” и встали, глядя на него со страхом и омерзением, подавляя в себе охоту бежать прочь без оглядки.

В этом сплетении змеиных тел гадюки непрерывно шевелились, наползали друг на друга, выползали одна из-под другой, растекались и стекались, извивались и корчились. Было их тут десятка три, я даже пробовал считать; “клубок” шелестел, издавал смрад, напомнивший мне ужиный. “Фу, фу, фу! — говорила Вера, морщась и отворачиваясь. — Пойдём отсюда!” Но мы не двигались с места и продолжали смотреть. Понятно, что вся змеиная жизнь подчинена инстинктам и рефлексам, и то, что гады собираются в начале лета для коллективного совокупления (если верить мне теперь рассказам деревенских старушек, да и в молодости я то же самое о змеях краем уха слышал), определено их природой. Но всё же лично на меня и мою жену от картины гадючьего “свального греха” веяло бесстыдством, словно картину составляли не животные, а люди. На людей змей не обращали никакого внимания. Мы успокоились и посмотрели на гадов даже вплотную, с одной стороны и другой, обошли их вокруг, жалея, что у нас нет при себе фотоаппарата, и направились к шоссе...

Но всё же я собирался увидеть и осеннюю змеиную “тусовку” и в надежде наткнуться на неё взял и навесил нынче “приклон” двадцать седьмого сентября, на Здвиженье. Отправился я теперь один, так как у жены нашлись дела перед нашим скорым возвращением в город. Лес оставался большей частью зелёным, только отдельные деревья желтели, главным образом, берёзы. Попадались мне и грибы, лисички, но мало, да и те уже водянистые, расквасившиеся, подгнившие. Долго я ходил по мрачному оврагу, по дну вертепа и крутым его склонам, продираясь сквозь корявые кустарники и папоротники по грудь, спотыкаясь о павшие стволы, заглядывая под вывороченные корни и в разные прочие ямы, но ни “клубка”, ни хотя бы единственной гадоки так и не нашёл. Конечно, отыскать в лесу место сбора гадок мудрено. Но, возможно, тут в сроках кроется ошибка, и змеи по осени собираются вместе не на Здвиженье (в день Воздвижения Животворящего Креста Господня), а немного раньше, на Артамона, двадцать пятого сентября (это и день Отдания Рождества Богородицы). Такое мнение я тоже слышал. А может быть, их предзимнее коллективное совещание — просто народное поверье.

ЛОПУХ И ЦИКОРИЙ

Всю другую лишнюю траву во дворе мы с женой в начале лета выкосили и выдрали, а возле лопушка и цикория, росших у высокого крыльчатого пристроя, остановились.

— Несчастные они какие-то, — сказала Вера Владимировна, — маленькие, сиротливые. Жалко их. Давай сохраним. Пусть растут.

— Пусть, — согласился я. — Лопушок вон уже просит, чтобы его не губили, боится, листом от нас отмахивается. А цикорий, гляди, привстал на цыпочки, лезет целоваться, заискивает...

На другой день, вынеся во двор помойную воду, я посмотрел, под какой куст её вылить, да и плеснул из ведра под лопух и цикорий, они росли в метре друг от друга.

Погода установилась жаркая. Огородные растения просили пить, облизывали воспалённые губы и жадно дули из лейки. Поливая их чуть не ежедневно, не забывали мы и про лопух с цикорием, мало того, поили их в первую очередь, хотя с водой было туго: железные бочки под дождевыми стоками быстро опустели, и я таскал воду из болотца на краю деревни, в жару сильно мелевшего, или из колонки, стоящей далековато от нашей нагорной избы, под горой. Потом жена, изготовив в ведре вонючий крапивный настой, подкормила им не только овощи на грядках, но и цикорий с лопухом. Взялись мы относиться к этим дикарчикам так же внимательно, как относимся к полезным культурным растениям: моркови, редиске, свёкле. Родными они нам стали, домашними. С умилением мы глядели, как питомцы росли.

Лопушок весь лоснился от сытости, от удовольствия. Его круглые щёки отражали солнце. Становясь из лопушка лопушищем, он раздавался в плечах, поигрывал мускулами и молодецкато подбоченивался. Цикорий же изо всех сил тянулся вверх, очень хотелось ему быть рослым и стройным. У цикория были синие глаза, они однажды раскрылись у него, как у двухнедельного котёнка. Он ласково мигал хозяевам синими глазами, хлопал длинными ресницами и благодарно прикасался к нам лёгкими прямыми шершавыми ветками.

— Ах, вы, милые! Ребятки мои дорогие! — так Вера Владимировна обращалась к пригретым нами сорнякам.

— Привет, мужики! — говорил я им, выходя на крыльцо.

— Вот ведь никакого от них в огороде толку, бурьян — и всё, а приятно посмотреть, — делились мы друг с другом. — Чистые, ухоженные, словно дети в благополучной семье. Живут и радуются...

Конечно, и лопух поднимался в вышину на дрожжах нашей о нём заботы, а не только крепчал, наливался мускулами. Они с цикорием соревновались, кто вырастет скорее и выше. Мы-то думали, что из них получатся так себе, обыкновенные кустики, а в сорняках при добром к ним отношении про-

явился гигантизм, и оба вымахали чуть не под стреху. Когда они сильно разрослись, мы сложили цикорию его длинные стебли, аккуратно подняли их к стволу (чтобы не ломались) и опоясали куст бечёвкой так, что он изобразил сноп, поставленный на попа, а ветки не лопуха уже, а репейника, круто гнувшиеся под тяжестью репьев, подтянули вверх, привязав бечёвки к гвоздикам, вбитым в брёвна избы. Цикорий принял это смиренно, понял и оценил, лопух же заартачился, задёргался, потребовал свободы, и мы отпустили почти все его ветки, оставили привязанными одни лишь верхние, самые тонкие.

— Как знаешь, — сказали. — Не боишься сломаться, ну и стой без поддержки, в гордой независимости. Потом, гляди, не стони, не жалуйся, пеняй на себя...

Цикорий нам без труда удалось воспитать (его генетический код располагает растение к благородству и способности приносить пользу людям, ведь цикорий в кофе кладут), а лопух огорчал хозяев дурными манерами, как был он от природы дремучим, косматым, так дикарём и остался. На днях взялась Вера Владимировна полить цикорий, и только наклонилась к нему с лейкой, как лопух шарахнул женщину шишковатым кулаком прямо по голове, на беду нынче не покрытой, да и прицепился к её седым волосам.

Она схватилась за голову, за колючки и пропичала:

— Ой!

Цикорий виновато сморщился, пожал плечиками и всем видом своим показал, что ему стыдно за хамовитого товарища.

— Что же ты, гад, делаешь? — крикнул я лопуху. — Хочешь, чтобы тебя выкорчевали и кинули на помойку, к чёртовой матери?

— Он, наверно, приревновал меня к цикорию, — сказала Вера. — Рассердился, что я не полила его в первую очередь.

— Много на себя берёт! — ворчал я, помогая ей вытаскивать репьи из волос. — Вырастили паразита себе на голову! Согрели змею на груди! Большой, а дурак!..

Он не только в жену мою вцепился, но и в меня несколько раз, видно, ошалел от безнаказанности, распоясался. За рукав схватил, когда я шёл мимо, за воротник, за дырявый берет. Но вдруг я услышал, как он прошелестел мне в самое ухо, уже под посвист октябрьского пронизывающего ветра:

— Стой, хозяин! Давай потолкуем! Что ты всё куда-то спешишь? Злитесь на меня с хозяйкой, что цепляюсь, да? Так ведь проходите близко, легко достать, соблазнительно. Как тут не прицепиться? Скучно ведь...

Я заметил, что лопух встревожен, что он хочет показаться хорошим и расположить меня к себе. Время близилось к зиме — вот в чём было дело. Лёгкий поджарый цикорий ждал суровую пору по-христиански спокойно, безропотно, а его богатырского вида сосед страшился холодов и одиночества. Цикорий всё лето маршировал на месте, разминался и осенью выглядел, свежим, подтянутым. Он напоминал теперь не сноп, а солдата в шинели, оставленного стеречь деревенское подворье; правда, готовясь к зимней спячке, синеглазое растение закрыло глаза. Лопух после весело проведённой молодости рано состарился, потускнел, вобрал в плечи полысевшую голову. Его нижние ветки под тяжестью репьев надломались, а сами репьи свалились, как нечёсаная шерсть. Мне думается, он боялся и того, что мы его в самом деле выдернем из земли, как выдёргивали сейчас овощи на грядках. Пригрозил ведь хозяин...

— Боюсь! — шепнул он мне во второе ухо.

— Не бойся, — ответил я и похлопал его по дрожащему крутому плечу. — Не распускайся. Никто тебя не тронет. Бери пример с цикория. Запасись мужеством, терпением и стойко перенеси зиму. Будущей весной возродисься, и мы опять встретимся. Начиная новую жизнь, учти предыдущие ошибки и заблуждения. Впрочем, того, чтобы ты пригладился и окультурился, я не жду. Для этого тебе пришлось бы ломать себя, угнетать, переиначивать с нашей помощью. Скажу правду: оставайся таким, каков есть. Диким, колючим ты, по-своему, и интересен.

Знали мы с женой, что тем легче растение переживёт зиму, чем больше его корень с осени напьётся воды, и, опоражнивая на зиму бочки, наполнен-

ные осенними дождями, мы отнесли по паре вёдер не только под яблони, кусты смородины и крыжовника, но и под цикорий с лопухом.

На прощание я протянул питомцам руку, в первую очередь лопуху. Старичок скривился от боли в надломленной ветке, но ответил таким душевным рукопожатием, что сразу прилип к моей нитяной рабочей перчатке (по рассеянности я забыл, что остался в перчатках, что-то поделав во дворе, прежде чем поспешить к рейсовому автобусу). Я стал отдиравать его колючки от руки, и он прилип к другой перчатке.

— Не хочет расставаться, — сказала Вера Владимировна и вздохнула.

Сняв перчатки, я освободился от его цепкого рукопожатия и, конечно, не обиделся на дикаря: как может, так и действует. Они с цикорием одинаково нам нравились.

ЛОСЁНОК

Хотя и птицы в лесу чирикали, и верхи деревьев пошумливали листвой, и собственные глухие шаги по опушке я слышал, но мне казалось, что вокруг — тишина. Полный душевный покой — вот что есть для меня тишина вдали от города, на вольной природе, это я давно понял и даже собственным голосом стараюсь не нарушать в себе навеянное природой умиротворение.

Но сперва мы с женой аукались — когда она свернула с опушки в лес, а я остался меж берёзовой чащей и разросшимся сосновым молодняком — “лесопосадкой”. Увлёкшись поисками грибов, оба скоро затихли, да и не теряла Вера мужа из вида, боясь отойти от милого слишком далеко. Безлюдье, густой лес, окружающий сосновый молодняк, который поднялся выше человеческого роста, чистое газовое небо, пламенное утреннее солнце за лесом... Неторопливо бреду опушкой, разглядывая траву и палую листву под ногами; ощущаю свою причастность к дикой природе, отчуждённость от городской жизни, и какие-то неясные романтические образы мельтешат в воображении. Близится поворот, на повороте растут большие многолетние берёзы; и вдруг из-за них, из-за берёз прямо на меня выскакивает стройная рыже-коричневая животина, останавливается передо мной, скользнув по траве с разбега, и всматривается в человека большими раскосыми глазами...

Даже разорвись бомба неподалёку, я так, как теперь, наверно бы, не опешил — струхнул бы, упал на землю, закрыл голову руками, но не застыл на месте, не окаменел. Однако голова работала, сознание осталось светлым. “Кто это? — лихорадочно думал я. — На зайца не похоже, и великовато для зайца, и стать не та, и уши... Чья-то необыкновенная собака заблудилась в лесу? А может быть, молодая безрогая козочка?..” И неожиданно сообразил, что вижу лосёнка, и уже в этом не усомнился. Успокоившись, я внимательно разглядел посланное мне чудо.

Могу утверждать, что оно удивилось мне, но не испугалось: малó ещё было, наивно, неопытно. Чудо стояло на длинных тонких, разведённых, как стойки дровопильных козел, ногах с раздвоенными копытцами, острыми бабками и круглыми коленными чашечками. Гладкое упитанное тело лосёнка, покрытое лохматящейся шерстью чубарого окраса, статью походило скорее на козье, чем на телячье. На макушке животного торчали под углом длинноватые уши — лопоухий был дружок, — на вздутой его мордочке, спереди притупленной, шевелился, принохиваясь, широкий чёрный нос; и, словно в размышлении, малыш перебирал мягкими смешными губами, складывающимися, мне казалось, в улыбку.

Но более всего мне запали в душу его крупные раскосые глаза, обведённые тёмными дугами, точно подрисованные, — чистые, доверчивые и вместе с тем лукавые, любопытные. Такие увидишь только у малышей, человеческих и звериных. Людей лосёнок едва ли прежде встречал, и, наверно, он принял меня за какое-то безвредное животное. Ещё немного — и малыш, возможно, приблизился бы, притянулся вздутой мордочкой к человеку, а то и дал себя погладить. Я и не думал, что он гуляет по лесу не один, что шаловливое дитя отбилась от матери, а мать ищет его где-то неподалёку и, опа-

саясь за своего ребёнка, может угрожать человеку, — я хотел, чтобы это чудо из чудес подольше меня не покидало, и уже привлекал его к себе яблочком, взятым в дорогу.

Но радость в одиночку — это не полная радость, для полной нужен участник, свидетель. Решив, что лосёнок теперь совсем меня не остерегается и что он не устрасится моего голоса, я осторожно кликнул жену:

— Вера! Вера! Или скорей! — и он вздрогнул, повернулся и, вскинув короткий хвостик, рысью убежал за поворот, и в глубине леса послышалось трубное, с надрывом, коровье мычание — это о лосёнке тревожилась мать...

Жена вышла на опушку и спросила:

— Ты что кричал? В чём дело?

— Лосёнка видел, — ответил я, от волнения так неубедительно, что сам себе не поверил.

— А смеёшься почему? Шутить?

— Не шучу. Просто отличное настроение, мне его теперь надолго хватит... Вот здесь лосёнок стоял, почти рядом со мной. Я крикнул, он испугался и исчез. А потом его лосиха позвала, промывчала...

— Я слышала мычание, — сказала Вера. — Думала, это корова.

— Откуда тут, в дремучем лесу взяты коровы, подумай? Если бы какая и забрела, её бы волки загрызли. Нет, это лосиха. Она мычит по-коровьи.

— Чудеса, — сказала жена и глянула на мужа всё-таки с сомнением.

— Чудеса-то чудеса, но это и правда. Мне повезло. Так всё и было, как говорю. Ничего не выдумываю, — ответил я спокойно, с достоинством, но тут же пошёл расписывать встречу с лосёнком живо, увлечённо и подробно. Жена с интересом слушала, переспрашивала и верила. Мы с ней и грибки перестали высматривать.

С тех пор мне нередко видится лосёнок на лесной опушке. Как представляю милое лесное создание, его карие младенческие глаза, не замутнённые тревогой и недоверием, как вспомню наше с ним короткое взаимное расположение, так невольно улыбнусь, и на душе станет теплее. Может быть, и животное вспоминает человека.

ДРАМА В КУРЯТНИКЕ

В одном из своих “деревенских” рассказов я, помнится, жаловался на гусака, который, когда я шёл к водяной колонке, бегал за мной, вытянув шею, раскинув крылья и шпиз:

— Ух, ущипну!

Пробовал я говорить с ним по душам: как, мол, не стыдно? Что ты себе позволяешь? Зачем пристаёшь к человеку, ни в чём перед тобой не повинному? Но распоясавшегося хулигана увещевать бесполезно, он понимает только кулак; и, не стерпев, я однажды пригрозил гаду:

— Если не отстанешь, шею сверну!

Мне кажется, он испугался, понял, что не шучу; пока больше не нападает, только косо глядит круглым глазом, делает вид, что ничего не боится и готов опять ринуться в атаку.

С гусынями же из его компании я в мирных отношениях. Они бродят по улице, переваливаясь с боку на бок и вихляя задом, этаким важным барыни, мирно щиплют траву, лежат, как насытятся, у забора своего подворья и не обращают на меня внимания. Правда, когда их ухаждёр измывался над человеком, гусыни вскидывали головы и галдели в мою сторону: “Га-га-га...”, — а мне в их гортанных криках слышалось:

— Вот он какой, наш гусак! Он нас оберегает, никому в обиду не даёт! А ваши гусаки так же заботятся о своих гусынях?

Однажды в середине лета, наливая в ведро воду из колонки, я увидел, как одна из гусынь свернула с травы на песчаную дорогу, накатанную меж двух порядков домов личными автомобилями некоторых селян и дачников. Жирная птица полежала брюшком на песке и снесла яйцо. Оставив ведро

с водой, я подобрал ценный продукт, тёплый после утробы, и пошёл с ним к тётке Полине; изба её стояла рядом с колонкой.

— Пожалуйста, — говорю, взойдя на пристрой крыльца и подавая загорелой молодой хозяйке лежащее на ладони яйцо, раза в два больше куриного, сильно вытянутое и с серым оттенком. — Ваша птичка снесла. Какое крупное! Никогда не ел гусиных яиц. Какие они на вкус?

— Куриные лучше, мягче. А вы оставьте его себе и попробуйте. Потом скажете, понравилось или не понравилось, — ответила женщина, которую деревенские почему-то за глаза называли тёткой Полиной, хотя многие из называвших были старше её. Вероятно, кто-то однажды случайно поименовал её так, а другие подхватили, и возраст никакого значения тут не имел. Мне Полина вообще годилась в дочери, но никто не кликал меня дядькой Альбертом.

Я поблагодарил её, но дар не принял, объяснив, что несущее ведро с водой и по дороге могу нечаянно разбить замечательное яйцо, тем более что буду подниматься домой по каменистой тропинке в крутую гору. Очень станет жалко, если разобью. В следующий раз, сказал, возьму, и мы с женой попробуем.

— По-моему, в нашей деревне только у вас есть гуси, — заметил я. — Ни у кого больше я их не видел.

— Почему? — Она пожала обнажённым смуглым плечом. (Одета Полина была в светлое платье без рукавов.) — Имеются ещё любители. Пройдите по-над речкой в другую часть деревни и увидите. Там гуси в речке плавают.

— Хорошо, пройду, поинтересуюсь, — сказал я и кивнул через плечо на разноцветных хохлаток с петухом, гулявших по двору и за подворьем, рядом с гусями. — А у вас, смотрю, и кур немало.

— Люблю всякую живность, — ответила она. — Я раньше и кроликов разводила, и корову держала, и козу. Но с годами стало надоедать. Всё ведь на одни руки. Сын с женой приезжают раз в году. А мужа у меня давно нет. С курами моими, знаете ли, ныне прямо беда.

— А что такое?

— Да пропадают! Лиса ворует!

— Лиса? Неужели из тёмного леса сюда бегаёт?

— Откуда же? У нас тут кругом леса! Привязалась, подлога, и нет от неё покоя! Наверное, с десяток курочек унесла! Ни к кому другому больше вроде не лазит. Почему только ко мне — пёс её разберёт. Может, прослышала, что живу одиноко и что из моего дома, наверняка, не выйдет мужик с ружьём и не жажнет в неё.

Полина сощурила тёмные глаза, показала кулак и из приветливой добродушной женщины превратилась в крутую мстительницу, вспомнившую незначай заклятого врага.

— Ух, я бы эту заразу!.. — произнесла она, трясая головой в белом платке, завязанном на затылке. — Будь у меня ружьё, в клочья бы разнесла её крупной дробью!

— Сочувствую, — сказал я. — Самому не приходилось заводить кур; но понимаю вашу обиду и досаду. Своими руками вырастить, выходить, вскормить и полюбить животин, а потом их какая-нибудь зверюга утащит!

— В том-то и дело! — подхватила она. — Они ведь становятся тебе родными! Привыкают к хозяйке, и ты к ним привыкаешь, разговариваешь с ними, особенно, когда больше говорить не с кем! Покричишь: “Цып-цып-цып!” — летят со всех ног!..

Взгляд её обратился в пространство и печально затуманился. Она даже шмыгнула носом. А куры с петухом на голос Полины примчались к крыльцу, с разбегу пошарили глазами по земле и ушли разочарованные.

— А на гусей ваших лиса не нападает? — спросил я.

— Нет, гусей не трогает. С ними ей не справиться. Гуси сумеют за себя постоять.

— Наверное, вы как-нибудь боролись с ней? Пытались её поймать или отвадить?

— А то как же? И кашкан до сих пор ставлю! И еду, посыпанную отравой, кладу! И выслеживаю с дубиной в руке! Умная. Хитрая. Кашкан и приманку обходит стороной. Застукать её трудно, чтобы оглушить дубиной по башке. Выберет подходящее время, запрыгнет на курятник, разворошит крышу и нападает сверху, как рысь, на бедных моих курочек. Они переполошатся, заорут со страху, захлопают крыльями, но пока я, если услышу, добегу до курятника, эта шалава прыг в лаз с курицей в зубах — и поминай как звали. Но не так давно я её всё-таки чуть не прищучила. Вот прямо чуть-чуть! Она у меня была почти в руках! Мы с ней сцепились в курятнике! Курицу друг у дружки вырывали!

— Как это?

— А вот так! Да вы зайдите в избу! Что у порога стоять? Я вам сейчас расскажу!

Я зашёл в горенку, сел на старый венский стул и послушал.

Женщина вдруг сменила гнев на милость: в её словах и интонациях мне послышалось сострадание к лисице, и лицо её расправилось и стало мило-видным. Начала она свой удивительный рассказ с того, что у зверюги, верно, подрастали малы детушки, и, чтобы их сытно питать и учить охотиться, лиса умыкала у вдовы куру за курой. От себя замечу: в густых лесах вокруг нашей деревни полно всякого зверья, лис в том числе. Бродя по дебрям, я не раз встречал лисьи норы с узким входом, продолговатым, как амбразура дзота.

Гусятник Полины примыкал к сараю, а курятник устроился в сарае: слева, как войдёшь — дровяник и место для вёдер, сельскохозяйственных инструментов; справа — загородка для кур и насест, сплошь заляпанные белым помётом. Возле невысокого сарая была сложена запасная поленища дров. Хозяйка прикрыла её от дождя клеёнкой. Время от времени Патрикеевна ночью пробиралась в деревню и, издали чуя и обходя собак, достигала подворья тётки Полины. Там она запрыгивала на поленищу, дальше на крышу сарая и, раздрав когтистыми лапами рубероид, находила щель в кровле. Обгрызая доски острыми зубами и расширив щель, воровка просовывалась в неё и соскакивала на земляной пол. Куры в ужасе слетали с насеста, кудахтали благим матом и трепыхались. Гуси тоже волновались и устраивали свой гусиный переполох. Злодейка нападала на кур, ловила одну из бедолаг и сгнала с ней на дубовую бочку, на поленищу, сложенную в дровянике, на всё, что повыше, а оттуда — под кровлю, в лаз. Так всё начиналось.

Хозяйка забивала лаз изнутри и снаружи, накладывала заплатки на порванный рубероид. Но лиса нащупывала в крыше новую слабинку и вводила у тётки очередную курицу. Полина и поленищи перенесла на другие места, и бочку в сарае сдвинула и перевернула вниз дном. Она попыталась изловить, обуздать, наказать лисицу разными способами, о которых уже мне поведала. Ничто не помогало. А воровка уже и подкопы стала делать, прямо под курятник, и через них стащила несколько хохлаток. Полина взялась за голову и расплакалась от злости и бессилия. Рассказывая мне, как плакала, она опять поносила лису словами “подлюга”, “шалава”, “зараза”.

Вскоре после того женщина и столкнулась со злодейкой. Она уже давно толком не спала. Полина выходила по ночам на крыльцо, прислушивалась и держала под рукой палку. Сидеть в засаде у курятника было нельзя: зверь чуял притаившегося человека и выжидал. Памятная ей ночь выдалась лунной и звёздной. Все предметы усадьбы хорошо виднелись в общих чертах: сарай, гусятник, дальше огород, ещё дальше пара яблонь, кусты малины и чёрной смородины, а вокруг двора покосившийся часток. Где-то перекинулись лапами собаки — и наступила тишина. Деревня уснула.

Было тепло, а к комарам тётка Полина привыкла. Она задремала на крыльце на скамейке; но вдруг уловила настороженным слухом: куры в курятнике забеспокоились, зашевелились, кудахтали. Не успела хозяйка вскочить на ноги, как хохлатки истошно заорали вместе с переоравшим их петухом и захлопали крыльями. Загалдели и гуси. Она схватила палку и опророметью побежала к курятнику.

Женщина боялась, что опять не успеет. Но нынче лисица промешкала. Заскочив в незапертый сарай, Полина зажгла электричество и ослепила хищницу. Та заметалась с курицей в зубах, кинулась было к подкопу, но хозяйка загородила ей дорогу. В панике воровка прыгнула на бревенчатую стену и сорвалась. Не кошка ведь она, а почти собака. Бросаясь туда-сюда, наткнулась на озлобленную мстительницу. Крестьянка подчинилась инстинкту сохранения частной собственности и забыла, что у неё в руке ударное оружие. Выпустив палку, она успела схватиться обеими руками за курицу и потянула её к себе. Лиса, мотая головой и упираясь лапами, потянула в обратную сторону. И так сильно они тянули, что у курочки задралось платье, съехали штанишки и оголился живот. “Отдай!” — кричала Полина. “Ты отдай! — сквозь зубы цедила лиса. — Мои щенки кушать хотят! И сама я голодная!” “Это не твоё! — ругалась тётка Полина. — Ты воровка! Сколько кур у меня стащила! Что ты привязалась ко мне?” — “У тебя много, а у меня ни одной!..”

— Так вот прямо она с вами и разговаривала? — сказал я, смеясь.

— Ну, не словами, конечно! — ответила Полина, проведя пальцем под носом и хмыкнув. — А видом своим! Как она разговаривать-то могла с курицей в зубах? И знаете, рычала по-собачьи, глазами бешеными водила и морду собирала складками! Мне страшно сделалось! Думала, бросится на меня!

— А дальше-то что?

— Дальше? Курочка, понятно, умерла. Она её за шею клыками держала и придушила. Пока мы вырывали бедную друг у друга, шея курочкина, мне показалось, растянулась и стала очень тонкая, того и гляди оборвётся. Я не вытерпела и отпустила. Лиса тут же удрала с моим добром через подкоп.

— И всё? — спросил я.

— А что вы ещё хотели? Небось, накормила выводок, сама поела и где-то бегаёт. Жду, когда снова объявится. Похоже, я её крепко напугала.

— Вам бы собачку завести, — сказал я, вставая. — И ночью с цепи её спускать. Спасибо за занятную историю.

— Про собачку я подумываю. Может, заведу. Кошка у меня уже есть. А вам спасибо, что яйцо подобрали. Гусыня эта не в первый раз безобразничает: кладёт яйца где попало.

Я интересовался у тётки Полины, не навевается ли к ней лиса. Нет, до конца лета Патрикеевна её больше не беспокоила. А потом, спустившись от своей избы в низину деревни, я увидел в помойной яме, устроенной некоторыми жителями у подножия горы, часть лисицы: голову с остекленевшими глазами, оскаленной пастью и примерно полтуловища с передними лапами. Она ещё долго проглядывала из-под отбросов.

— Не ваша ли это разорительница там лежит? — спросил я Полину, пройдясь в очередной раз с ведром до колонки.

— Я ходила смотрела. Вроде похожа, — невесело ответили она, ёжась на крыльце от осеннего холода. — Я её, правда, всего один раз видела, и то не при дневном свете, но, по-моему, она была как раз светло-рыжая. Собаки её, наверное, учуяли и задрали. Кто-нибудь отнёс на помойку. То-то больше куроцапка не показывается.

— Жалко лису, — сказал я.

— Жалко, — согласилась женщина. — И курочек мне жалко, и дуру эту, и её выводок. Если по правде рассуждать: это лисе так положено — кур у людей воровать, когда другая охота не клеится. Иначе сама с голоду подохнет и лисят уморит. Скорее всего, она не столько о себе заботилась, сколько о детях. Видно, хорошая была мамаша.

ВЫХОД ИЗ ЛЕСА

Возвращаюсь с грибами в деревню. Иду молодым, просторным и светлым лесом, в котором шней даже не видно — наверно, никто никогда не пилил этот лес. Тут растут и берёза, и ёлка, и осина, и сосна, всем хватает места под солнцем, все деревья как-то сумели пошире раздвинуться и не ме-

шают спокойно жить одно другому. Дружат и взаимодействуют, словно народы легендарной Страны Советов. Подлесок, правда, помаленьку разрастается, и неизвестно, что дальше будет.

Шагаю споро, местность покатаая, покатость тоже подгоняет. На ходу наклоняюсь, рву одной рукой и кидаю в рот спелую чернику и переспелую землянику. Несу за ручку свою старую ивняковую корзину, слушаю младенческие голоса птиц, смотрю, как то и дело меняется обстановка леса и чередуются разные оттенки зелени. Корзина моя полным-полна, но грибы лезут мне на глаза, из травы встают на цыпочки, из кустов выскакивают, из-за деревьев и кочек. Я креплюсь, не беру, без того тяжело, и класть некуда. “Не попадайтесь больше! Не попадайтесь! — бормочу. — Мне хватит!”

Ушёл я далеко, но уверен, что не заблужусь. День сегодня ясный, солнечный, а я давно приметил, как солнце движется относительно моей деревни и под каким углом к нему надо в лесу идти в разное время дня, чтобы добраться домой.

Но время летит быстрее, чем кажется спешащему из леса домой, и откуда-то вдруг берутся тени — не эти, фигурные, прозрачные, от деревьев и кустов, — а сплошные, хмурые, падающие сверху. Поднимаю голову и вижу, что на небе, ещё недавно светло-голубом, ясным, как стёклышко, появились тучки. Одна из них накрыла солнце, подержала его в неволе и выпустила. То же самое делают вторая, третья, четвёртая, пятая тучки, плывущие друг за другом, а потом их множество, создавая ветер, объединяется и не даёт пробиться ни одному солнечному лучу.

Холодает. По лесу хлещет дождь, шумя, как горный водопад.

Я не того боюсь, что вымокну до нитки, а того, что могу теперь заблудиться. В сильный дождь не только утрачиваются солнечные и другие ориентиры, но главное, лично у меня исчезает чутьё лесовика, как в сырости пропадает чутьё у собаки, идущей по следу. Лес за сеткой дождя сказочно красив, но переименован, знакомые места в нём кажутся впервые увиденными. Мне бы следовало переждать этот внезапный и, как я думал, по-летнему недолгий ливень, посидеть до конца его под развесистым деревом, но я торопилось спастись от дождя, куда-то бегу, словно молодой, и сбиваюсь с пути.

Дождь кончается много позднее, чем я ожидал. Опять выглядывает солнце, но уже другое, предсонное, светящее по низу деревьев, вознося к их верхушкам последние неяркие лучи. Я вновь поворачиваю на него, не ведая, как идти иначе, но отлично понимая, что за то время, пока лил дождь, солнце описало в небе большую дугу, а сам я прошёл значительное расстояние неизвестно куда. Погрешность взятого мной после дождя направления велика. Осознав, что до наступления темноты из леса уже не выйду, я чувствую страх, уныние, злость, беззащитность — всё, как однажды по объявлении в России перестройки и демократии.

Солнце, уходя на покой, играет с грибником дурную шутку: тянет его из хорошего леса в мрачную чащобу, поросшую травой по колено, заваленную палыми деревьями, из которых иные так прогнили, что сами собой развалились на куски. Хорошо помню, как солнце совсем исчезло за лесом, забрав с собой бледные лучи, похожие на крылья ветряков, и оставив над землёй временное тусклое свечение. На фоне тусклого свечения вижу впереди ряд наклонившихся в разные стороны деревьев, то ли подпёртых от падения соседними прямо стоящими, то ли, наоборот, подпирающих прямо стоящие. За этими дикими раскосами и стояками в глубине дебрей клубится туман.

Воцаряется ночь. Я скучаю по жене Вере, думаю о том, как тревожно ей сидеть одной в избушке, с нетерпением дожидаясь мужа, и жалею, что не могу успокоить её весточкой, поскольку не пользуюсь мобильным телефоном. Обычно мы уходим в лес вместе, но сегодня она занялась стиркой. “Хорошо, что Вера не пошла, — говорю себе. — Жена моя не из слабонервных, не из пугливых женщин, и вместе нам, заядлым лесовикам, приходилось блуждать и ночевать в лесу, но тогда была молодость, нынешнее же моё приключение не по её с годами слабеющему здоровью”.

Где ночь застаёт, там и останавливаюсь — возле упавшего толстого дерева, поднятого упершимися в землю сучьями на высоту спортивного бревна.

Шалаш, считаю, мне ни к чему; костёр разжечь — спичек нет: некурящий. Я крепко устал, но, сидя на мокрой траве, отдохнуть не желаю, а какой-нибудь подходящей жердины поблизости не нахожу. Забираюсь на лежащее дерево, но быстро с него соскакиваю — сидеть среди густых, кривых, царапающих сучьев не нравится. Отнеся в сторону, чтобы в темноте не уронить, корзину с грибами, я приваливаюсь к палому дереву сперва животом, потом спиной, и так, больше мучаясь, чем отдыхая, терпеливо жду рассвета.

Ветер давно замер. Небо снова чисто, сияют звёзды. Сперва я вижу лишь очертания палого дерева, к которому пристроился, да силуэты близрастущих деревьев, а всё, что дальше, кажется сплошной чёрной массой. Но когда глаза привыкают к слабому звёздному свету, различаю впереди какие-то волосы, свисающие с веток, а в стороне от волос на прогалине — длинного уroda с птичьей головой и старуху в платке и юбке до земли. Образы, созданные воображением, не так страшны, как внезапный натуральный человеческий вопль поблизости, а за ним ещё один, с невнятными причитаниями. Скорее всего, это филин сходит с ума. Что-то ещё хрюкает и ворчит басом экс-премьера Касьянова — тоже недобрые звуки, — но воплей я пугаюсь до колотья в груди.

Потом мерещится вдали зеленоватый огонёк, о котором я думаю: а не пресловутый ли это “тот свет в конце тоннеля” и не нечистая ли сила подманивает меня к себе, чтобы обнаружить и сожрать? Наверно, это горит светляк в гнилушке, но, может быть, волчий глаз; от предположения волчьего глаза тоже становится не по себе. Прогоняя страхи, читаю “Отче наш”.

Во влажном тёплом ночном лесу, конечно, донимают комары. С омерзительным зудением, пытаюсь тончайшими злыми голосами выговорить “банзай”, они кидаются на меня целыми полчищами, лезут в рот, нос, уши, кусают то в щёку, то в лоб, то в шею, то в кисть руки, прокалывают стальными хоботками пиджак, штанину, кепку. Я непрерывно бью себя обеими руками, размазываю кровь, охаю и приплясываю. Борюсь с комарами, перестаю хотеть спать (а то глаза сами зажмуривались, ноги подгибались) и больше не страшусь мистических образов, диких зверей и чьих-то воплей. Так что с одной стороны кровососы зверствуют, а с другой поддерживают в заблудшем путнике бодрость тела и духа...

Я не раз слышал истории о том, как люди плутают в лесах и как некоторые навсегда в них теряются. И в нашей деревне был случай: пошла чья-то бабуса по грибы и исчезла, ни живой не нашли, ни мёртвой. По телевизору как-то говорили об одной старушке. Эта неделю провела в лесу и выжила, поддерживав силы ягодами, не испугавшись одиночества, опасностей и наваждений, обернув корой берёзы открытые голени, чтобы не искусал гнус. Я удивлялся отважной женщине и с морозцем по коже видел себя в её злоключении, а теперь вот сам заночевал в дебрях, и рассказ о моём тяжёлом походе можно приложить к другим подобным.

“Не сдамся, — храбрюсь я, не прекращая воевать с комарами я чесаться. — Как рассветёт, поем ягод — черники тут, наверно, полно, гонобобеля — и стану думать, что делать дальше. Рыжики тоже и сыроежки годятся в пищу в сыром виде, ещё лягушки и змеи. В общем, не пропаду. Хотя кто знает, сколько дней мне придётся блуждать, леса-то здешние — муромские, известные своей протяжённостью и дремучестью”.

По верхам деревьев пробегает свежий ветер, это начинается утро. Кровососы нападают меньше. В сражении с ними я разгорячился; но одежда на мне мокрая, и в сапоги от дождя натекло, я скоро до дрожи стыну. Чтобы согреться, машу руками, приседаю и прыгаю. Вижу, как наступает ранний летний рассвет, как быстро выявляются первозданные картины пуши, как лес опутывает плотная паутина — это слоями поднимаются от земли дождевые испарения. Гляжу на часы: времени около четырёх. Всё вокруг видно, но идти некуда — всюду дебри, травища, бурелом. Надо ждать солнца, без него нельзя трогаться с места. “Только бы взошло! Только бы небо опять не затянуло тучами! — думаю, поглядывая вверх. — По солнцу я опять попытаюсь определиться, а если скроется, то не буду знать, в какую сторону идти”.

Небо голубое, как глаза моей жены. Часам к пяти светило протягивает из-за леса лучи, а потом само пробирается к верхушкам деревьев и сверкает. Встречаю его как живое существо, друга и товарища, профессионального спасателя, узнавшего о том, что человек может сгинуть в дремучем лесу, и немедленно явившегося на помощь. Невозможно передать, какое удовольствие я испытываю от его огненного сверкания и нарастающего тепла. С восходом солнца пуца по-своему, по-дикому прихорашивается. Влажная зелень всюду искрится. В роскошной траве видны на прогалине белейшие ромашки, соцветия иван-чая, колокольчики, курослеп, зверобой, фиалки и разные другие прелестные цветы, а возле моего ночлега — обилие крупной черники, которую я впотьмах изрядно подавил сапогами. Красиво вокруг; люблюсь. Слышу бойкое щебетание и хлопанье крыльев. Оказывается, и птицы тут живут и суетятся по утрам. Но мне нельзя обольщаться красотами леса. Дикая природа поглотит меня, если я не выберусь из неё. Невелика радость умереть под пение птиц, среди цветов и ягод.

Поев черники, прикидываю направление, не забываю корзину с грибами и пускаюсь в неведомый путь. Дорога тяжелее, чем я предполагал. Тут полно глубоких оврагов, склоны их, как и лес наверху, загромождены поваленными деревьями, а дно заросло папоротниками. Осторожно спускаюсь вниз, обходя или перелезая скользкие стволы; а на дне по плечи погружаюсь в мокрые папоротники и, искупавшись в них, как в студёной реке, карабкаюсь наверх. Строго держу под острым углом к солнцу. Тяжело дышу, шатаюсь от усталости, но берегу грибы. Скусываю корки с покоробившихся губ и облизываю влажные листья деревьев, чтобы утолить жажду. Иду, иду, иду. Молюсь, как умею, Богу, а ещё вдохновляюсь подвигом старушки, неделю проведшей в лесу.

Ландшафт становится ровнее. Овраги больше мне не встречаются, но по-прежнему немало на моём пути и гниющих деревьев, и непродиристых кустарников, и цепляющейся за ноги травы. К полудню лес просыхает, мою одежду солнце тоже высушило, в сапогах только мокро, вязаные носки хоть отжимай. Я нахожу укромное место, ложе, застеленное шёлковой травой, скидываю сапоги, вешаю носки на ореховый куст и ложусь. Пихаю под голову свёрнутый пиджак и собираюсь отдохнуть совсем немного, но через минуту крепко сплю. Комары никуда из леса не делись. Не так зверски, как ночью, но они продолжают кусаться, а в разгар дня им помогают слепни, только я уже ничего не чувствую.

Просыпаюсь от чьего-то холодного прикосновения; открываю глаза и сперва вижу нацеленное на меня бельмо, которое оказывается белёсым грибовидным наростом на стволе берёзы; а дальше, повернув голову, удивлённо смотрю на лягушку, словно для того припрыгавшую к моей горячей щеке, чтобы разбудить меня и сказать: “Эй, мужичок! Солнце-то передвинулось! Голова твоя садовая попала из тени на припёк!”

— Спасибо, лягушка! — говорю. — Спасла ты меня от теплового удара! Скачи домой!

Подгоняю её пальцем, и она, сильно оттолкнувшись, делает большой скачок.

Солнце краснеет и снижается. На часах шестнадцать с минутами. Ужаснувшись тому, как быстро сократилось для меня световое время дня, я встаю, обуваясь, надеваю пиджак, снова ем чернику и бреду с корзиной дальше. Ноги болят, поясищу ломит, голова трещит от послеполуденного сна и солнцепёка, лицо залито потом. Тру лицо подкладкой кепки и ощущаю, как украсилось оно шишками от укусов слепней и комаров, — когда явлюсь домой, жена, наверно, при виде любимого ужаснётся и не сразу узнает его.

Тоска по жене и дому, жажда покоя и уюта обостряются во мне до предела. Куда-то пропадают все мои недомогания, иду быстрее. Лес, похоже, становится лучше, чище, опрятнее, совсем исчез бурелом. Но вдруг я вижу признаки диких зверей. Встретившиеся мне в одном месте крупные берцовые кости, рёбра и длинный череп, наверно, оставили волки, сожрав леса. Только волчья стая могла справиться со взрослым лосем. А большой участок земли изрыт кабанами. Хрюшки, добывая какие-то корни, подняли травя-

ной слой до голого сутлинка. Пласты дёрна так старательно выворочены и откинuty в стороны, что несведущему в повадках зверья грибнику или ягоднику трудно поверить, что это дело не рук человеческих, а свиных рыл. Кошусь по сторонам, не выскочит ли из зарослей клыкастый вепрь. А то, чего доброго, и медведь, ревя, выйдет из малинника. Малины здесь тоже много, она почти вся спелая, да некогда мне теперь есть: день на исходе.

Почти бегу, не чувствуя ног, не замечая усталости и одышки. Это нервная лихорадка от страха провести в дебрях ещё одну ночь. Заходящее солнце мерцает, словно лампа под падающим напряжением. Опять надвигаются сумерки. А лес тут совсем неплох, деревья широко раздвинулись и помолодели, под ногами приятная травка, грибы хорошие растут, а в дебрях встречались одни квёлые перестарки. Местность полого наклоняется. Под горку бегу ещё скорее. “Стоп! Стоп! Стоп! — вдруг кричит мне внутренний голос. — Ну-ка, остановись! Соберись с мыслями и сообрази, что происходит уже не то, чего ты опасаясь! Ты вернулся в прекрасный лес, где вчера застал тебя ливень, с которого вместо благополучного возвращения домой началось твоё нелепое блуждание!” “Не может быть!” — думаю ошеломлённо, но убеждаюсь, что так оно и есть: лес тот самый, я им нечасто, но хаживал. Из этого леса, напрягши моё чутьё лесовика, я выйду, пожалуй, и без помощи солнца, даже в сумерках. Не оказался бы только счастливый поворот судьбы лукавым сном и не сойти бы мне с ума от радости...

Спустя час стою на гористой опушке в виду деревни; у ног моих — корзина с грибами. Вниз я не тороплюсь, прихожу в себя. Смотрю вокруг, облегчённо дышу и чувствую себя так, словно вышел я не из тёмного леса к людям, а вернулся к себе в Россию из чужой враждебной страны. Лес тут ни при чём. Я сам выбрал в нём ложное направление, а не он сбил меня с пути. В лесу — как в жизни: всякое бывает; и в жизни мне тоже приходится блуждать, как в лесных дебрях, с трудом находя дорогу. Мысли о лесе всегда уводят меня далеко; но сейчас ясно одно: я мог остаться в пуще навсегда, но счастливо отделался.

Над деревней поздний вечер и тишина. Её котловинную часть заполняет парное молоко — густой туман, погружающий в себя избы. Небо больше звёздное, чем облачное, и дождь, похоже, не предвидится — очень не хотелось бы мне под конец пути ещё раз вымокнуть. А на высоком холме деревни, с краю, вижу нашу избушку. В окнах горит электричество. Жена Вера, конечно, истомилась в ожидании меня, побегала по соседям, наслушалась советов и теперь не знает, что ей делать: то ли ещё понадеяться, то ли начать звонить в районный центр, заявлять в милицию о моём исчезновении.

Пройдут последние полчаса, и в дверях перед женой возникнет призрак мужа с корзиной грибов.